18+

Александр Доброяров

Всё включено

«Автор»
2026

Доброяров А.

Всё включено / А. Доброяров — «Автор», 2026

В турецком отеле всё включено: море, музыка, круглосуточные просьбы гостей и алкоголь с утра. Макс Ветров приезжает сюда работать с людьми. Для человека, заново собирающего трезвую жизнь, место кажется сомнительным — зато чужую беду он умеет замечать раньше других.Здесь у него появляются друзья, честные отношения и возможность управлять маленьким отелем в Каше. Здесь можно остаться. Но в Ростове взрослеет Димка, стареют близкие, а в Новочеркасске живёт девочка, перед которой у Макса остаётся самый трудный долг.Роман о близости без обмана и возвращении, к которому идут годами. Пятая книга цикла «Не уходить первым».

© Доброяров А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Сезон первый 5
Глава 1. Кемер 5
Глава 2. Всё включено 11
Глава 3. Тигран 16
Глава 4. Анимация 20
Глава 5. Среда 24
Глава 6. Утро ужаса № 13 30
Глава 7. Зима в Кемере 34
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Александр Доброяров
Всё включено

Часть первая. Сезон первый

Глава 1. Кемер

Аэропорт Антальи в августе — это печь.

Я вышел из самолёта на трап — и меня ударило. Не воздухом. Жаром. Сорок два в тени, а тени не было. Солнце висело прямо над головой, белое, злое, и бетон лётного поля плавился под ногами, как пластилин.

В Адлере было влажно и тяжело — как мокрое полотенце. Здесь было сухо и жёстко — как раскалённая сковородка.

Я стоял на трапе. С рюкзаком. С фиалкой в пластиковом стаканчике. И дышал.

Сзади толкали. Туристы. Двести человек с ростовского рейса. В шортах, в панамах, с детьми, с пакетами из дьюти-фри. Им не терпелось. Всё включено ждало.

Тигран стоял в зале прилёта. С табличкой.

Не бумажной — картонной, самодельной. Написано фломастером, кривыми русскими буквами: «ВЕТРОВ». И ниже, мельче, по-армянски — я не понял что.

Он был похож на Гурама. И совсем не похож.

Тот же рост. Те же плечи. Та же лысина. Те же тёмные, быстрые, умные глаза. Но Гурам был громкий, весёлый, с золотой цепью и шрамом. А Тигран — тихий. Сухой. В белой рубашке с короткими рукавами. Без цепи. Без шрама. С очками в тонкой оправе на носу.

Ему было сорок шесть. Он выглядел на пятьдесят пять.

Он увидел меня. Посмотрел. Три секунды.

Я понял, что он тоже умеет. Все люди, которые в девяносто третьем бежали из Сухуми, — умели. Иначе бы не выжили.

— Ветров, — сказал Тигран. Не спросил.

— Ветров.

Он посмотрел на фиалку в стаканчике.

— Это что?

— Фиалка. Черенок. От одной старухи из Ростова.

Тигран долго смотрел на стаканчик. Потом — на меня.

— Гурам говорил — ты странный, — сказал он. — Не говорил — насколько.

Он забрал у меня рюкзак. Фиалку не тронул.

— Неси сам, — сказал Тигран. — Вещи, которые человек везёт в руках через границу, — он должен нести сам. Это наше правило. Беженское.

От Антальи до Кемера — сорок пять километров. Дорога вдоль моря. Справа — горы. Огромные, серые, голые. Таврские. Слева — море. Синее. Того же цвета, что в Адлере, но другое. Ярче. Прозрачнее. Злее.

Между горами и морем — отели. Один за другим. Сотни. Белые, высокие, с флагами, с пальмами, с бассейнами, похожими на голубые лужи. Названия — «Палас», «Резорт», «Делюкс», «Клаб». Как будто кто-то взял все слова о роскоши и раздал их отелям по очереди.

Тигран вёл старый белый «Фиат» молча. Двадцать минут. Потом сказал, не глядя на меня:

— Гурам говорит, ты не пьёшь.

— Не пью.

— Сколько?

— Шестьсот девять дней. После срыва. До срыва — четыре года.

Тигран кивнул.

— Я тоже не пью, — сказал он. — Двенадцать лет. Мусульманин? Нет. Армянин. Христианин. Просто не пью.

— Почему?

Тигран помолчал.

— Отец пил, — сказал он. — Брат пил. В Сухуми. В девяносто третьем. Когда пришли. Отец был пьяный. Не успел. Брат был пьяный. Не успел. Я был трезвый. Успел. До лодки.

Он вёл машину. Смотрел на дорогу.

— С тех пор — не пью, — сказал Тигран. — Трезвые успевают. Пьяные — нет. Это всё, что я знаю про жизнь.

Отель назывался «Леда Палас».

Пять звёзд. Четыреста двенадцать номеров. Главный корпус — восемь этажей, белый, с балконами, похожими на соты. Шесть бассейнов. Три ресторана. Восемь баров. Аквапарк — горки, извивающиеся, как кишки. Пляж — двести метров, галька и песок, с лежаками в шесть рядов. Пирс — длинный, деревянный, уходящий в море.

И люди. Везде. Тысяча двести гостей. Восемьдесят процентов — русские. Остальные — немцы, украинцы, казахи, поляки.

Тигран вёл меня через лобби. Мраморный пол. Фонтан. Кожаные диваны. Кондиционер — так холодно, что по коже побежали мурашки.

У стойки ресепшена — очередь. Тридцать человек. С чемоданами. Злые, потные, усталые. Женщина в розовом кричала на администратора — молодого турка, который не понимал по-русски и улыбался всё шире.

— Видишь? — сказал Тигран. — Это твоя работа. Вот это всё.

— Что — это?

— Женщина в розовом, — сказал Тигран. — Она кричит, потому что ей дали номер с видом на горы, а она платила за вид на море. Она не знает, что вид на море — на сто евро дороже. Турагент ей не сказал. Она думает, что её обманули. Она права. Её обманули. Только не мы.

Он посмотрел на меня.

— Администратор — Эмре, — сказал Тигран. — Двадцать два года. Из Анкары. Он не понимает, что она кричит. Он улыбается, потому что в школе гостиничного бизнеса сказали — всегда улыбайся. Она думает, что он издевается.

Он помолчал.

— Через пять минут она позвонит турагенту, — сказал Тигран. — Через десять — напишет в интернет. Через месяц у меня будет сорок отзывов: «Отель — помойка, персонал — хамы». Из-за одного номера.

Он снял очки. Протёр.

— Гурам сказал, ты видишь людей за три секунды. Покажи.

Я поставил рюкзак у колонны. Фиалку — на стойку. Подошёл к женщине в розовом.

Она не замечала меня. Кричала на Эмре. Пятьдесят лет. Крашеная блондинка. Из Воронежа — по говору. С мужем, который стоял сзади, молчал, держал два чемодана и смотрел в пол. С дочерью-подростком, которая смотрела в телефон и делала вид, что этих людей не знает.

Три секунды.

Чего хочет: моря. Не номера с видом на море — моря. Она год копила. Мечтала. Как будет просыпаться и выходить на балкон, и там — синее. Чего боится: что муж скажет — я же говорил, надо было в Анапу. Что дочь будет весь отпуск сидеть в телефоне. Что всё будет не так, как в мечте. Чего не хватает: чтобы кто-то сказал — вы правы. Вас обманули. Но мы не виноваты. И мы поможем.

— Здравствуйте, — сказал я.

Она обернулась. Посмотрела на меня. На бороду. На мятую рубашку после самолёта.

— Вы кто? — спросила она резко.

— Максим. Из Ростова. Я здесь работаю. С сегодняшнего дня. Первая минута. Вы мой первый гость.

Она замолчала. Не ожидала.

— Вас обманули, — сказал я. — Турагент не сказал, что вид на море стоит дороже. Это нечестно. Вы правы.

Она смотрела на меня. Злость в глазах — гасла. Медленно.

— Я не могу дать вам номер с видом на море бесплатно, — сказал я. — Я пока не знаю, могу ли вообще что-то давать. Я тут минуту. Но я могу вот что. Завтра утром, в шесть, когда солнце встаёт, — приходите на пирс. Вон тот, деревянный. Там никого не будет. Только море. Оно встаёт из-за гор. Розовое. Я вас проведу. Сам.

Женщина смотрела на меня. Потом — на мужа. Муж поднял глаза от пола. Первый раз.

— Валь, — сказал он тихо. — Пойдём на пирс. Ты же хотела рассвет.

Она смотрела на него. Долго.

Потом вдруг заплакала. Тихо. В розовом платье. Посреди мраморного лобби.

— Я двадцать лет хотела рассвет на море, — сказала она. — Двадцать лет. Он меня ни разу не возил.

Муж подошёл. Обнял её. С чемоданами в руках. Неловко.

Дочь опустила телефон.

Тигран стоял у колонны. Рядом с моим рюкзаком. Смотрел.

Когда семья ушла к лифту — с номером с видом на горы, но с обещанием пирса на рассвете, — он подошёл.

— Ты ей ничего не дал, — сказал он.

— Ничего.

— Номер тот же. Вид на горы. Ты не сделал скидку. Не дал апгрейд. Не дал бутылку вина в номер.

— Нет.

Тигран смотрел на меня.

— А она плакала, — сказал он. — И ушла довольная. Я двадцать лет в отелях. Я даю апгрейды, скидки, вино, фрукты, массаж. Они всё равно пишут — помойка.

Он надел очки.

— Ты ей дал рассвет, — сказал Тигран. — Который бесплатный. Который есть каждый день. Который никто не видит, потому что все спят до обеда после бара.

Он помолчал.

— Гурам не врал, — сказал он. — Ты странный.

Моя комната была в корпусе для персонала. За отелем, за парковкой, за мусорными баками. Трёхэтажное здание из бетона, без балконов, без кондиционеров. В коридоре пахло турецким табаком и чужими носками.

Комната — шесть метров. Кровать. Тумбочка. Шкаф. Вентилятор на потолке, который скрипел. Окно — на мусорные баки. И дальше, за баками, за забором, между двумя корпусами отеля — узкая полоска моря. Синяя. Сантиметров десять, если мерить пальцем на стекле.

Я поставил фиалку на подоконник. Мордой к морю. Как Маршал у Деспины. Как Маршал у Клавдии Ивановны — мордой во двор.

Три листа. Тёмные, бархатные. В пластиковом стаканчике.

Цербер сказала — если приживётся там, значит, ты и там остался.

Я полил её. Водой из бутылки. Отстоянной — я налил её в самолёте, специально.

Был не воскресенье. Пятница.

Но я подумал — Цербер простит. Первый день.

В первую ночь я не спал.

Вентилятор скрипел. В коридоре кто-то ругался по-турецки. За стеной — храпели. Двое. В унисон. За окном — мусорные баки. Кошки. Десяток. Дрались из-за объедков из ресторана.

В два часа ночи я вышел. На парковку. Подышать.

У ворот служебного входа сидел человек. На пластиковом стуле. В форме охранника — тёмно-синей, мятой. С фонариком на коленях. С термосом. Смотрел на звёзды.

Маленький. Смуглый. С узкими глазами. С редкими усами. Лет пятидесяти.

Он увидел меня. Не встал. Кивнул.

— Новый, — сказал он. По-русски. С акцентом — не турецким. Другим. Мягким.

— Новый. Максим.

— Мурат, — сказал он. — Туркмения. Мары. Знаешь Мары?

— Нет.

Мурат засмеялся. Тихо.

— Никто не знает, — сказал он. — Пустыня. Каракумы. Хлопок. Жара — пятьдесят. Воды — нет. Моря — нет. Ничего нет.

Он налил чаю из термоса в крышку. Протянул мне.

Я сел на бордюр рядом.

Он рассказывал до четырёх. Тихо. Без остановки. Как будто давно не с кем было.

Про Мары. Про хлопковые поля, где он работал с семи лет — всех детей гоняли, осенью школы закрывали, все — на сбор. Про отца, который умер в девяносто восьмом от водки — там тоже пили, хоть и мусульмане. Про мать — она осталась одна с шестью детьми. Про то, как он в две тысячи третьем уехал в Турцию — через Иран, на автобусе, три дня. Без денег. С одним адресом в кармане — дальний родственник в Анталье.

Про то, что он отправляет домой всё. Каждый месяц. Четыреста долларов из пятисот. Матери. Сёстрам — на свадьбы. Младшему брату — на учёбу.

— Семь лет не был дома, — сказал Мурат. — Виза — туда можно. Обратно — нет. Если уеду — не пустят. Туркмения — закрытая. Как тюрьма. Выйти — можно. Вернуться — трудно.

Он смотрел на звёзды.

— Мать звоню по воскресеньям, — сказал он. — Пять минут. Дорого. Она спрашивает — сынок, ты море видел? Я говорю — видел. Каждый день. Она говорит — какое оно? Я говорю — большое. Она говорит — больше Каракумов? Я говорю — больше.

Он помолчал.

— Я не умею плавать, — сказал Мурат. — Семь лет у моря. Не умею. Боюсь. В пустыне вода — это колодец. Глубокий. Туда падают — и всё. Я в детстве видел. Мальчик упал. Вытащили через день.

Он посмотрел на меня.

— Я ночной охранник, — сказал он. — Бассейны охраняю. Если кто тонет — я кричу. Не прыгаю. Не умею. Тигран-бей знает. Говорит — ничего, кричи громко.

Я сидел на бордюре. С крышкой от термоса. С туркменским чаем — зелёным, горьким.

И думал о Деспине. Как она каждое четырнадцатое декабря клала хризантемы в море. О Тигране, который в девяносто третьем ушёл на лодке. О Мурате, который семь лет у моря — и боится воды.

— Хочешь, научу? — спросил я.

Мурат посмотрел на меня.

— Плавать?

— Плавать. Ночью. В бассейне. Когда никого нет. Ты всё равно тут до утра.

Мурат долго молчал.

— Пятьдесят лет, — сказал он. — Поздно.

— Мне один пастух говорил — поздно только для мёртвых. Остальным — можно.

Мурат засмеялся. Потом перестал.

— Зачем тебе? — спросил он.

Я подумал. Честно.

— Чтобы если кто-то будет тонуть ночью, — сказал я, — ты не только кричал.

Мурат смотрел на меня. Долго.

Потом кивнул.

Мы начали через неделю. В три часа ночи. Бассейн номер один — главный, с подсветкой. Голубая вода. Тишина.

Мурат стоял на бортике. В трусах — длинных, семейных, советских. Смотрел на воду. Как на колодец.

Я стоял в воде. По грудь. На мелкой стороне.

— Иди, — сказал я. — Тут неглубоко. Я держу.

Он спускался по лестнице двадцать минут. Ступенька за ступенькой. Держался за поручни так, что белели пальцы.

Когда вода дошла до груди — замер. Не дышал.

— Всё, — сказал я. — Ты в воде. Стоишь. Не тонешь.

Он стоял. Дрожал. Смотрел на меня.

— Я в воде, — сказал Мурат. Шёпотом. — Мать не поверит.

Через месяц он проплыл бассейн. Двадцать пять метров. Медленно, по-собачьи, задыхаясь. Но — проплыл.

Вылез на бортик на той стороне. Сел. Мокрый. Смеялся. Плакал.

Потом сказал — я позвоню маме. Сейчас.

Три часа ночи — в Марах шесть утра.

Он позвонил. С моего телефона — его не хватало на минуты. Говорил по-туркменски. Быстро. Громко. Я не понимал ни слова.

Потом протянул мне трубку.

— Она хочет тебе сказать, — сказал Мурат.

Я взял.

В трубке — женский голос. Старый. Мягкий. По-русски — плохо, с трудом, советский русский, школьный, сорок лет не говорила.

— Спасибо, — сказала она. — Сынок… плавает. Спасибо. Аллах… видит.

И заплакала.

Я отдал трубку Мурату.

Сидел на бортике бассейна в три часа ночи. Мокрый. Шестьсот десятый день.

И думал — что за это никто не платит. Ни Тигран. Ни турагентство. Ни гости.

Только старая женщина в Марах говорит «спасибо» на языке, который сорок лет не помнила.

Это — было больше, чем пятнадцать процентов с банана.

В шесть утра я стоял на пирсе.

Солнце ещё не встало. Небо над горами было серое, потом розовое, потом оранжевое. Море — тёмное, гладкое, сонное. Ни одного человека на пляже. Лежаки — в шесть рядов, пустые. Зонтики — сложены.

Тишина. Только чайки. И где-то далеко — муэдзин. Первый раз в жизни я слышал муэдзина. Голос — высокий, протяжный, плывущий над отелями, над пальмами, над морем. Из мечети в Кемере. Как дудук на армянской свадьбе в Ереване.

В шесть ноль пять на пирс пришли трое. Женщина в розовом — нет, в белом сарафане, без макияжа. Муж — в шортах и майке, с термосом. Дочь — без телефона. Сонная, в пижамных штанах.

Они встали рядом со мной. У перил. Молча.

В шесть двенадцать солнце вышло из-за гор.

Не медленно, как в Адлере, где оно вставало из моря. Сразу. Как будто кто-то включил свет. Горы стали золотыми. Море — розовым, потом золотым, потом синим. Белые отели вдоль берега загорелись, как свечи.

Женщина стояла у перил. Смотрела. Не дышала.

Муж открыл термос. Налил ей кофе. Протянул. Она не взяла. Смотрела на море.

Потом сказала — тихо, не мне, никому:

— Вот оно.

И взяла мужа за руку.

Я отошёл. На другой край пирса. Не мешать.

Сидел на досках. Свесив ноги над водой. Как на моле в Адлере. Только без удочки.

Шестьсот десятый день.

Первое утро в Турции.

Всё включено — кроме рассвета. Рассвет — бесплатный. И его никто не видит.

Кроме тех, кому кто-то сказал — приходите на пирс.

Глава 2. Всё включено

В девять утра у бассейного бара стояла очередь.

Я не поверил сначала. Подумал — за кофе. За соком. За мороженым — дети.

Нет. За пивом. За водкой. За «мохито». За ракы — турецкой анисовой водкой, которая в стакане со льдом становится белой, как молоко. Её называют «львиное молоко».

Двадцать человек. Мужчины в плавках, с животами, с золотыми цепочками. Женщины в купальниках, с пластиковыми стаканами. Подростки — тайком, через родителей.

За стойкой — бармен. Молодой, худой, смуглый. С бородкой. Наливал быстро, не глядя. Пиво — из крана. Водку — из бутылки с дозатором. «Мохито» — из кувшина, заранее намешанного. Улыбался. Говорил «пожалуйста» по-русски, с акцентом.

Я стоял у колонны и смотрел.

В голове — щёлкнуло. Как всегда. Как на ларьке на углу Будённовского. Как у бара в ресторане на Пушкинской.

Бутылки. Ряды. Бесплатно. Сколько хочешь. Никто не спросит. Никто не посмотрит. Все пьют.

Шестьсот десятый день.

Я отвернулся. Пошёл к морю.

Моя работа называлась «гест-рилейшн-менеджер». Тигран объяснил в первый вечер — на английском это звучит важно, а по сути — ты ходишь по отелю и решаешь проблемы, которые ещё не начались.

У меня был бейдж. «Maksim. Guest Relations. RU / EN». Английский у меня был плохой — школьный, ростовский, «зе тейбл из грин». Тигран сказал — неважно, тут девяносто процентов русские, остальные — немцы, а с немцами говорят по-немецки, у нас есть Гюнтер.

У меня была рация. На поясе. Шипела каждые пять минут — по-турецки, по-русски, по-английски. «Мистер Максим, ресепшен». «Максим, бассейн три». «Максим, рум четыреста двенадцать — проблема».

У меня была форма — белая рубашка с логотипом отеля, тёмно-синие брюки. Тигран сказал — в форме тебя видят. Без формы — ты просто русский с бородой, таких тут тысяча.

И у меня была одна задача. Тигран сформулировал её так:

— Чтобы гости уезжали и не писали «помойка».

Первый день я не решал проблем. Я смотрел.

Ходил по отелю. С утра до ночи. Бассейны. Пляж. Рестораны. Бары. Лобби. Аквапарк. Пирс. Спортплощадка. Детский клуб.

И видел.

Семья из Тюмени — у бассейна номер два. Папа пьёт пиво с девяти утра. Мама загорает и злится. Двое детей носятся по горкам. К обеду папа будет пьяный. К ужину — скандал. К завтрашнему утру мама напишет в интернет, что персонал не следит за безопасностью детей. Хотя проблема — не персонал.

Две подруги из Москвы — у бара на пляже. Тридцать лет. Без мужей. Пьют «мохито» и смотрят на аниматоров. К вечеру — будут на дискотеке. К ночи — с аниматорами. К утру — одна будет плакать в номере, вторая — злиться на первую.

Пожилая пара из Казани — у моря. Молчат. Не пьют. Смотрят на воду. Он держит её за руку. Сорок лет вместе, наверное. Им ничего не надо. Им хорошо. Им просто нужно, чтобы никто не мешал.

Подросток из Екатеринбурга — один, на пирсе, с телефоном. Пятнадцать лет. Родители — в баре. С утра. Он сидит на пирсе, смотрит в телефон, не купается. Ему скучно. Ему одиноко. Ему никто не сказал, что в двухстах метрах от пирса — подводная скала, и там рыбы, и если взять маску — можно смотреть час.

Я видел всех. Тысячу двести человек. Три секунды на каждого. К вечеру голова гудела, как у Ирмы после Миланской недели моды.

В полдень я подошёл к бармену у бассейна.

Его звали Ахмет. Двадцать четыре года. Курд. Из Диярбакыра — далеко на востоке Турции, у иракской границы. Три сезона в «Леда Паласе». Говорил по-русски хорошо — научился у гостей. Понимал всё. Особенно — что заказывают.

Я сел у стойки. Попросил воды.

Ахмет налил. Посмотрел на меня.

— Новый? — спросил он.

— Новый.

— Не пьёшь?

— Не пью.

Ахмет кивнул. Без удивления.

— Мой отец тоже не пьёт, — сказал он. — Он мусульманин. Строгий. Я — нет. Я пью. Немного. Но тут — нельзя. На работе. Тигран-бей выгонит.

Он посмотрел на очередь у стойки.

— Русские пьют много, — сказал Ахмет. — Я раньше думал — это шутка. Анекдот. Потом приехал сюда. Это не шутка.

Я смотрел на мужчину из Тюмени. Он подходил к стойке пятый раз. С десяти утра. Пиво.

— Ахмет, — сказал я. — Вот этот. В синих плавках. Пятый раз. У него двое детей на горках. Жена злая. К вечеру будет скандал.

Ахмет посмотрел на мужчину.

— И что? — спросил он. — Всё включено. Он заплатил. Он может пить сколько хочет.

— Может, — сказал я. — Но ты можешь наливать медленнее.

Ахмет посмотрел на меня.

— Медленнее?

— Медленнее. Не отказывать — просто медленнее. Пусть подождёт. Минуту. Две. Пока ждёт — посмотрит на детей. Может, пойдёт к ним. Может, жена подойдёт. Может, расхочется.

Ахмет долго смотрел на меня. Потом засмеялся.

— Ты как моя бабушка, — сказал он. — Она чай медленно наливала. Когда дед злой приходил. Говорила — пока чай льётся, злость уходит.

Когда мужчина в синих плавках подошёл в шестой раз, Ахмет наливал пиво две минуты. Медленно. С пеной. Сливал пену. Наливал снова. Улыбался. Извинялся — кран, мол, сломался.

Мужчина стоял у стойки. Ждал. Смотрел по сторонам.

Увидел детей. На горке. Младший — лет шести — махал ему рукой. «Папа! Смотри!» И съезжал с горки, визжа.

Мужчина смотрел.

Когда Ахмет наконец поставил перед ним пиво — мужчина взял. Посмотрел на стакан.

И пошёл к детям. С пивом. Но пошёл.

Выпил он его через час. Тёплым. Не допил.

Две подруги из Москвы — у пляжного бара — к вечеру были там, где я и думал.

На дискотеке. С аниматорами. Одна — с Ромой, высоким, загорелым, из Одессы. Вторая — одна. У стойки. С пятым «мохито».

Я видел.

В полночь первая ушла с Ромой. В сторону корпуса персонала.

Вторая осталась. Смотрела им вслед. Пила.

Потом заплакала.

Я подошёл. Сел рядом. На высокий табурет. Попросил у бармена воды.

Она посмотрела на меня. Мутно. Красные глаза. Тушь потекла.

— Вы кто? — спросила она.

— Максим. Гест-рилейшн.

— А, — сказала она. — Персонал. Вы тоже сейчас скажете — девушка, вам хватит?

— Нет.

Она удивилась.

— А что скажете?

Я подумал. Три секунды.

Тридцать два года. Москва. Офис — банк или страховая. Начальник отдела. Не замужем. Подруга — замужем, приехала «отдохнуть от мужа». Пригласила её — «за компанию». Она согласилась — потому что больше не с кем. Потому что дома — одна. Потому что надеялась — вдруг. Вдруг здесь.

А подруга — ушла с аниматором. В первый же вечер.

— Скажу, что вы приехали не за этим, — сказал я.

Она замерла.

— А за чем?

— За тем, чтобы кто-нибудь спросил, как вы, — сказал я. — Не на работе. Не подруга. Просто кто-нибудь. Как вы?

Она смотрела на меня. Долго.

Потом поставила стакан. Отодвинула.

— Плохо, — сказала она. — Мне — плохо. Тридцать два. Начальник отдела. Однушка в Химках. Кот. И подруга, которая взяла меня, чтобы было на кого оставить сумку на пляже.

Она засмеялась. Невесело.

— Вы первый, кто спросил, — сказала она. — За год. Как я.

Мы проговорили до двух. Я — с водой. Она — с водой тоже. Сама попросила, когда увидела мой стакан.

Про Москву. Про работу. Про кота — его зовут Бублик. Я засмеялся. Она не поняла почему. Я рассказал про Гошу Бубликяна. Она засмеялась тоже.

В два она встала.

— Спасибо, — сказала она. — Я пойду спать. Одна. И мне — нормально. Первый раз за вечер.

Она посмотрела на меня.

— Утром — пирс? — спросила она. — Вы ту женщину в розовом водили. Я видела.

— В шесть.

— Приду, — сказала она.

Пришла. В шесть. Одна. Без подруги.

Стояла у перил. Смотрела, как солнце выходит из-за гор.

Потом сказала — не мне, морю:

— Я поменяю работу. Когда вернусь. Давно хотела. Боялась.

Через год она прислала открытку. На адрес отеля. «Максиму, гест-рилейшн». Без обратного адреса. Только подпись — «Лена из Химок. И Бублик».

На открытке — Байкал. Зимний. Лёд, прозрачный, как стекло.

На обороте — три слова.

«Поменяла. Не боюсь».

Подростку на пирсе я принёс маску.

Взял в дайвинг-центре — там был турок Ферхат, весёлый, с бородой, он дал без вопросов. Маска, трубка, ласты.

Подошёл. Сел рядом на доски. Положил маску между нами.

Подросток посмотрел на маску. Потом на меня.

— Чё надо? — спросил он. По-екатеринбургски. Грубо.

— Ничего, — сказал я. — Там скала. Двести метров. Видишь — вода темнее? Под ней — рыбы. Синие, жёлтые, полосатые. Осьминог живёт. Ферхат говорит — его зовут Мустафа.

Подросток смотрел на воду. На тёмное пятно.

— Врёте, — сказал он. — Про осьминога.

— Может, вру, — сказал я. — Проверь.

Он смотрел на маску. Долго.

Потом взял. Надел. Посмотрел на меня через стекло — смешной, как рыба.

И прыгнул с пирса.

Он вернулся через два часа. Красный от солнца. Мокрый. С горящими глазами.

— Есть! — заорал он с воды, ещё не доплыв. — Есть осьминог! Я его видел! Он в дырке сидит! Под камнем! Мустафа!

Родители пришли за ним вечером. Из бара. Нашли его на пирсе. С Ферхатом. Ферхат учил его нырять с аквалангом — в бассейне, бесплатно, вечером, когда никого нет.

Папа посмотрел на сына. На маску. На Ферхата.

— Ты что, весь день тут? — спросил он.

— Весь день, — сказал сын. — Пап, я осьминога видел! Мустафу! Завтра пойдёшь со мной?

Папа смотрел на него. С пластиковым стаканом в руке.

Потом поставил стакан на перила пирса.

— Пойду, — сказал он.

В два часа ночи меня разбудила рация.

Туркмен Мурат — ночной охранник. Кричал по-русски, сбиваясь:

— Максим! Бассейн один! Человек! В воде! Не выплывает!

Я бежал от корпуса персонала. Босиком. В трусах и майке. Через парковку. Мимо мусорных баков. Мимо пальм.

Бассейн номер один — главный, большой, у ресторана. Подсветка голубая. Вода — светится.

В воде — человек. Лицом вниз. Не двигается.

Мурат стоял на бортике. Кричал. В воду не лез — не умел плавать, туркмены из пустыни не плавают, он потом сказал.

Я прыгнул.

Вода — тёплая, как суп. Хлорка — в глаза. Человек — тяжёлый. Огромный. Мужчина. Лет сорока пяти. Сто двадцать килограммов.

Я перевернул его. Лицом вверх. Потащил к бортику. Он не помогал. Висел, как мешок.

Мурат схватил его за руки. Мы вытащили вдвоём. На плитку. Мокрого. Белого.

Я проверил пульс. Есть. Дыхание — нет.

Лена. Склон. Мальчик под снегом. Отец Тенгиза на «Надежде». Вдох. Тридцать нажатий. Вдох.

На второй минуте он закашлялся. Вода хлынула изо рта. И — запах. Перегар. Такой густой, что меня затошнило.

Он открыл глаза. Посмотрел на меня. Мутно. Непонимающе.

— Ты кто? — спросил он. Хрипло.

— Максим. Гест-рилейшн.

— Чё?

— Неважно. Вы в бассейне тонули.

Он долго смотрел на меня. Потом засмеялся. Пьяно, хрипло, кашляя.

— Я? Тонул? Я мастер спорта по плаванию! Сургут! Чемпион области! Восемьдесят седьмой год!

Он попытался встать. Упал. Мурат поддержал.

Я сидел на плитке у бассейна. Мокрый. В трусах. Смотрел на него.

Чемпион области по плаванию. Восемьдесят седьмой год. Утонул в бассейне. В два часа ночи. Пьяный.

Как Витя-гитарист в Хосте. Как Коля — первый муж тёти Гали — в Дону. Как Яннис — нет, Яннис был трезвый.

Мурат увёл его в номер. Я остался.

Сидел у бассейна до рассвета. Голубая подсветка. Тёплая вода. Тишина.

В четыре утра погасили подсветку.

В пять — пришли уборщики. Турки, курды. Мыли плитку. Смотрели на меня. Ничего не говорили.

В шесть — я пошёл на пирс. Встречать рассвет.

Первые сутки в «Леда Паласе».

Один спасённый. Один осьминог. Одно пиво, налитое медленно.

И тысяча двести человек, которые завтра снова пойдут к бару в девять утра.

Всё включено.

Шестьсот десятый день кончился. Начался шестьсот одиннадцатый.

Я не выпил. Но я впервые понял, что здесь — будет труднее, чем на мосту.

На мосту я был один. А здесь — все пьют. Каждый день. С девяти утра. Бесплатно.

Слава был прав — видишь, во что превращаются. Каждый день.

Но Слава не сказал, что видеть это — тоже больно.

Глава 3. Тигран

Тигран жил в отеле. Не в номере для гостей — в маленькой комнате за кухней главного ресторана. Без окна. С раскладушкой, столом и сейфом. С иконой — армянской, Сурб Саркис на белом коне. И с фотографией на стене — чёрно-белой, выцветшей, в рамке.

На фотографии — дом. Двухэтажный, белый, с верандой. Сад. Мандариновые деревья. Море за ними. Женщина на веранде. Мужчина у калитки. Двое мальчишек на заборе.

— Сухуми, — сказал Тигран, когда я спросил. — Восемьдесят восьмой. Мать, отец, брат Ашот, я. Последнее лето, когда мы все вместе снялись у этого дома.

Он сказал это так, как говорят о погоде. Ровно. Без голоса.

Как Гром когда-то.

Про девяносто третий он рассказал через месяц. В конце сентября. Ночью. На пирсе.

Мы сидели на краю. Свесив ноги. Тигран курил — одну в день, как Ирма, он сказал, это последнее, что осталось от прежнего. Море было чёрным. Отели вдоль берега светились. С дискотеки доносилась музыка — тяжёлая, электронная, бессмысленная.

— Двадцать седьмое сентября, — сказал Тигран. — Ровно семнадцать лет назад. Сегодня.

Я молчал.

— Город брали, — сказал он. — Со всех сторон. Мы знали — неделю знали. Все уезжали. Кто мог. Через перевал, через горы. По морю — на кораблях, на лодках. Отец не хотел. Говорил — это мой дом, я его строил, я никуда не поеду. Пил. Неделю. Брат — тоже. С отцом. Они сидели на веранде и пили. Говорили — пусть приходят.

Он затянулся.

— Мать уехала двадцать пятого, — сказал Тигран. — На последнем корабле. В Сочи. Плакала. Звала нас. Отец не поехал. Брат не поехал. Я остался с ними. Мне было двадцать девять. Я думал — уговорю. Утром. Когда протрезвеют.

Он помолчал.

— Утром двадцать седьмого — стреляли уже на соседней улице, — сказал он. — Я разбудил отца. Он не встал. Пьяный. Я разбудил брата. Брат встал. Сказал — я возьму ружьё. Пошёл в сарай за ружьём.

Тигран смотрел на море.

— Я ждал, — сказал он. — У калитки. Пять минут. Десять. Брат не вышел из сарая. Отец не встал. А на соседней улице — уже кричали. Уже горело.

Он выбросил окурок в воду.

— Я ушёл, — сказал Тигран. — Один. Без них. К морю. Через сад. Через мандарины. На берегу — рыбак. Старик. Грузин. С лодкой. С мотором. Он ждал кого-то. Своих. Свои не пришли. Он посмотрел на меня. Сказал — садись. И мы пошли. В море. Ночью. Без огней. Двенадцать часов. До Турции. До Трабзона.

Он помолчал.

— Трапезунд, — сказал Тигран. — Деспинин Трапезунд. Гурам говорил — ты жил у гречанки, у которой предки оттуда. Её предки бежали оттуда — к нам. А я бежал от нас — туда. Сто лет разницы. Та же лодка.

Я сидел на пирсе. Не мог ничего сказать.

— Отца и брата я больше не видел, — сказал Тигран. — Через год мать узнала — оба погибли. В тот же день. Брат — в сарае. С ружьём. Отец — на веранде. Пьяный. Наверное, так и не проснулся.

Он помолчал.

— Я двадцать лет думаю — надо было тащить, — сказал он. — Силой. За шиворот. Отца — на себе. Брата — из сарая. Я был сильный, двадцать девять лет, я бы смог. А я ждал у калитки. Пять минут. Десять. Как будто они сами выйдут.

Он посмотрел на меня.

— Гурам говорил — тебя с моста мальчик снял, — сказал Тигран. — Пятнадцать лет. С фонариком.

— Снял.

Тигран кивнул.

— Он не ждал у калитки, — сказал он. — Мальчик. Он пошёл. Ночью. В метель. Нашёл. Сел рядом. Держал за руку.

Он встал. Отряхнул брюки.

— Я — ждал, — сказал Тигран. — Поэтому я не пью. Двенадцать лет. Чтобы если кто-то из моих будет на мосту — я не ждал у калитки. А шёл.

Про отель он рассказал на следующий день. В кабинете. Днём. Сухо. По-деловому.

«Леда Палас» принадлежал турецкому холдингу. Из Стамбула. Владельцы приезжали раз в год — смотрели цифры, уезжали. Тигран был генеральным менеджером. Восьмой год. До него — четыре менеджера за пять лет. Все воровали. Тигран — нет.

— Я единственный армянин на должности генерального менеджера на всём побережье, — сказал Тигран. — От Кемера до Аланьи. Двести отелей. Турки меня терпят, потому что я не ворую и у меня самые низкие жалобы. Если я начну воровать — меня выгонят в тот же день. Если жалобы вырастут — тоже.

Он показал мне таблицу. Персонал. Триста сорок человек.

Турки — двести. Из всех концов страны. Из Анталии, из Анкары, из Стамбула, из деревень в горах. Повара, официанты, горничные, садовники, охрана.

Курды — шестьдесят. С востока. Из Диярбакыра, из Вана, из Мардина. Бармены, уборщики, кухонные рабочие. Турки на них смотрели свысока. Курды на турок — исподлобья.

Русские — сорок. Аниматоры, гиды, менеджеры по работе с гостями. Из Москвы, из Питера, из Краснодара, из Ростова.

Украинцы — двадцать пять. Аниматоры, танцовщицы, массажистки. Из Херсона, из Одессы, из Николаева.

Остальные — туркмены, узбеки, азербайджанцы, грузины, молдаване. Охрана, разнорабочие.

— Вавилон, — сказал Тигран. — Шестнадцать языков. Девять религий. Четыре войны в прошлом. Курды и турки — война. Армяне и азербайджанцы — война. Грузины и абхазы — моя война. Русские и чеченцы — тоже есть у нас, два охранника из Грозного.

Он закрыл таблицу.

— И все работают, — сказал Тигран. — Вместе. Восемь лет. Ни одной драки.

— Как?

Тигран посмотрел на меня.

— Потому что все — беженцы, — сказал он. — Все откуда-то бежали. Кто от войны. Кто от нищеты. Кто от отца, который пьёт. Кто от мужа, который бьёт. Кто от себя. Здесь нет ни одного человека, который приехал, потому что ему хорошо дома.

Он помолчал.

— Беженцы не дерутся между собой, — сказал Тигран. — Они знают, что у всех за спиной — горит. У кого-то — Сухуми. У кого-то — Грозный. У кого-то — Диярбакыр. У кого-то — Нахаловка.

Он посмотрел на меня.

— У тебя — что горело? — спросил он.

Я подумал.

— Ателье на Садовой, — сказал я. — В двухтысячном. Портниха обожгла руки. Из-за меня.

Тигран кивнул.

— Значит, ты свой, — сказал он. — Тут все свои.

В октябре я понял, что он имел в виду.

На кухне главного ресторана подрались двое. Турок-повар и курд-посудомойщик. Из-за ножа — повар сказал, что курд украл. Курд сказал, что не крал. Повар ударил. Курд ответил.

Меня позвали — рация. Я прибежал. На кухне — крик, грохот, кастрюли на полу. Двое катаются по кафелю. Вокруг — двадцать человек. Турки — за повара. Курды — за посудомойщика. Сейчас начнётся.

Я не знал, что делать. Я не говорил по-турецки. Не говорил по-курдски.

И тут вошёл Тигран.

Он не кричал. Не разнимал. Встал в дверях кухни. Сказал одно слово. По-турецки. Тихо.

Все замерли.

Двое на полу — расцепились. Встали. Смотрели на Тиграна.

Тигран подошёл к повару. Что-то сказал. Повар опустил голову. Подошёл к посудомойщику. Что-то сказал. Посудомойщик опустил голову.

Потом Тигран подошёл к шкафу с ножами. Открыл. Достал нож — тот, из-за которого дрались. Большой, кухонный, с деревянной ручкой.

Положил на стол. Между ними.

Сказал что-то ещё.

Повар посмотрел на нож. Потом — на посудомойщика. Потом протянул руку.

Посудомойщик пожал.

Тигран ушёл.

— Что ты им сказал? — спросил я вечером. На пирсе.

Тигран курил свою одну.

— Первое слово — «беженцы», — сказал он. — По-турецки — «мюльтеджи». Я сказал — мюльтеджи. Все замолчали. Потому что все знают, что они — мюльтеджи.

Он выпустил дым.

— Повару я сказал — твой дед бежал из Салоник в двадцать третьем, — сказал Тигран. — Греки выгнали турок. Ему было пять лет. Его мать несла его на руках через горы. Он мне сам рассказывал. Пьяный, на Новый год.

Он помолчал.

— Посудомойщику я сказал — твой отец бежал из деревни под Мардином в девяносто пятом, — сказал Тигран. — Деревню сожгли. Он мне тоже рассказывал. Трезвый. В Рамадан.

Он посмотрел на меня.

— А потом положил нож между ними, — сказал Тигран. — И сказал — этот нож купил я. В девяносто шестом. На свои первые деньги. Когда пришёл в отель посудомойщиком. Армянин из Сухуми. Мюльтеджи. Этот нож — мой. Он не турецкий и не курдский. Он — беженский. Поделите.

Он выбросил окурок.

— Они пожали руки, — сказал Тигран. — Не потому что я начальник. А потому что я напомнил — откуда они. Когда человек помнит, откуда он, — он не бьёт другого человека, который оттуда же.

Я сидел на пирсе. Думал.

О Гураме. О тёте Асе. Об Ануш. О Вазгене, у которого сын не вернулся из Карабаха. О Рафике, у которого брат умер на руках под Степанакертом. О Деспине, чьих предков выгнали из Трапезунда. Об Ирме, которая сбежала с перрона. О матери, которая сбежала от отца. О себе — который сбегал от всех.

Мюльтеджи. Все.

— Тигран, — сказал я. — А я — откуда?

Тигран посмотрел на меня. Долго.

— Ты — с Нахаловки, — сказал он. — Гурам говорил. Там тоже горело. Не дома. Внутри. У всех. Отцы пили, матери уходили, дети катали тележки на рынке.

Он встал.

— Это тоже война, — сказал Тигран. — Тихая. Без стрельбы. Двадцать лет. Но — война. Вы все оттуда — беженцы. Ты, Гоша твой, мальчик твой из детдома. Все.

Он пошёл по пирсу к берегу. Остановился.

— Гурам говорит — ты всю жизнь убегал, — сказал Тигран. — От всех. Первым.

— Убегал.

Тигран кивнул.

— Беженцы всегда убегают, — сказал он. — Это не стыдно. Стыдно — не остановиться, когда добежал. Когда уже нет пожара. Когда уже можно жить. А ты всё бежишь. По привычке.

Он ушёл.

Я сидел на пирсе. Смотрел на море. Чёрное. Огромное.

И думал — я добежал?

Не знал.

Но фиалка на подоконнике в комнате над мусорными баками — пустила новый лист. Четвёртый. Маленький. Светлый.

Я увидел его утром. Когда поливал.

В воскресенье.

Глава 4. Анимация

Но с Оксаной я познакомился раньше — на третий день после приезда.

Я стоял у сцены амфитеатра. Вечер. Девять часов. Шоу — «Ночь в Стамбуле». Аниматоры в костюмах — шаровары, тюрбаны, покрывала с блёстками. Танец живота. Факиры. Фокусник. Музыка — громкая, восточная, из колонок, которые хрипели на басах.

В амфитеатре — пятьсот гостей. С коктейлями. Хлопали, свистели, снимали на телефоны.

Я смотрел не на сцену. На аниматоров.

Двенадцать человек. Девять девушек, трое парней. Молодые — девятнадцать, двадцать, двадцать два. Из Украины, из России, из Казахстана. Улыбались. Танцевали. Работали.

И я видел. Три секунды на каждого.

Девушка во втором ряду — устала до смерти, двенадцатый час на ногах, улыбка держится на одних мышцах. Парень-факир — боится огня, каждый раз, когда подносит факел ко рту, — сжимается. Девушка с краю — плачет. Не видно, на ней покрывало. Но я видел. Плечи.

И та, что в центре. Ведущая. Без костюма — в чёрном, с микрофоном. Невысокая, крепкая, с короткими тёмными волосами. Командовала остальными — взглядом, кивком, движением руки. Как дирижёр.

Она повернулась. Посмотрела прямо на меня. Через всю сцену. Через пятьсот человек.

И я понял, что она меня видит. Как я её.

После шоу она нашла меня за кулисами.

Подошла. Встала близко. Сантиметров тридцать. Посмотрела снизу вверх — она была ниже меня на голову.

— Ты, — сказала она. — Новый. Русский. С бородой. Гест-рилейшн.

— Я.

— Ты три дня смотришь на моих девочек, — сказала она. — На каждом шоу. Стоишь у сцены. Как в магазине. Как на рынке. Выбираешь.

Я замер.

«Вы смотрите на людей так, как будто прицениваетесь. Это неприятно. Перестаньте, пожалуйста».

Травмпункт на Будённовском. Одиннадцать лет назад.

«Ты на меня смотришь, как будто покупаешь. Перестань».

Прокат в Красной Поляне. Пять лет назад.

Каждая женщина, которая что-то значила, — говорила мне это. Первыми словами.

— Я не выбираю, — сказал я.

— Выбираешь, — сказала она. — Я видела таких. Каждый сезон — новый менеджер. Русский. Стоит у сцены. Смотрит. Потом подходит к самой молодой. Говорит — ты талантливая, хочешь, помогу. Через неделю она у него в номере. Через месяц — плачет. Через два — уезжает домой. Без денег. Без контракта.

Она смотрела на меня. Карими глазами. Злыми.

— Я — Оксана, — сказала она. — Руководитель анимации. Это мои девочки. Я их сюда привезла. Из Херсона, из Николаева, из Одессы. Я их матерям обещала — привезу обратно. Целыми. Если ты к любой из них подойдёшь — я тебе…

Она не договорила. Не надо было.

— Девушка с краю, — сказал я. — Третья справа. В синем покрывале. Она плакала. Всё шоу. Под покрывалом.

Оксана замолчала.

— Факир, — сказал я. — Парень. Он боится огня. Каждый раз сжимается. Когда-нибудь обожжётся. Не потому что неумелый — потому что боится. Страх делает руки медленными.

Оксана смотрела на меня.

— Девушка во втором ряду, — сказал я. — Двенадцатый час на ногах. Улыбка — на мышцах. Если ещё неделю так — упадёт. Посреди шоу.

Оксана долго молчала.

Потом сказала — тихо, по-другому:

— Настя. В синем. Ей девятнадцать. Мать в Херсоне в больнице. Позвонили сегодня утром. Инсульт. Она не может уехать — контракт, неустойка. Она танцует и плачет.

Она помолчала.

— Факира зовут Дима, — сказала она. — Из Николаева. Он раньше не боялся. Месяц назад — обжёгся. На тренировке. Лицо. Немного. С тех пор — боится. Но работает. Потому что деньги нужны. Брат в тюрьме, адвокат.

Она посмотрела на меня.

— Во втором ряду — Лиза, — сказала Оксана. — Двадцать лет. Из Одессы. Она работает за двоих — за себя и за Катю, которая уволилась. Я не могу найти замену. Середина сезона.

Лиза.

Я вздрогнул. Оксана заметила.

— Что? — спросила она.

— Ничего, — сказал я. — Имя.

Мы стояли за кулисами. В темноте. Вокруг — костюмы на вешалках, реквизит, коробки. Пахло потом, гримом, дешёвыми духами.

Оксана смотрела на меня. Долго.

— Ты видишь, — сказала она. Не спросила.

— Вижу.

— Как?

Я подумал.

— Не знаю, — сказал я. — С детства. На рынке научился. Тележку катал. Надо было знать, кто купит, кто украдёт, кто заплатит. За три секунды.

Оксана кивнула.

— И что ты с этим делаешь? — спросила она.

Я подумал. Честно.

— Раньше — продавал, — сказал я. — Людей. Девочек. В Москве. Модельное агентство. Видел, кто выдержит Милан, кто нет. Продавал тех, кто выдержит.

Оксана смотрела на меня.

— А сейчас?

— А сейчас — говорю, — сказал я. — Им. Что вижу. Не про них. Им.

Она долго молчала.

— Насте скажешь? — спросила Оксана. — Что видишь?

— Если разрешишь.

Оксана посмотрела на меня. Удивлённо.

— Ты спрашиваешь разрешения?

— Это твои девочки, — сказал я. — Ты их матерям обещала.

Я не стал говорить Насте, что вижу. Она и так знала, что плачет.

Я пошёл к Тиграну.

Ночью. В его комнату за кухней. Постучал.

Тигран открыл. В майке. С очками в руке. Сонный.

Я рассказал. Про Настю. Про мать в больнице. Про контракт. Про неустойку.

Тигран слушал. Не перебивал.

Потом спросил:

— Сколько неустойка?

— Не знаю. Оксана говорит — восемьсот долларов.

Тигран надел очки.

— Неустойку платит не она, — сказал он. — Неустойку платит агентство, которое её прислало. Если отель расторгает контракт по причине — форс-мажор, семейные обстоятельства, — агентство не платит ничего. Отель — тоже. Это в контракте. Пункт четырнадцать. Мелким шрифтом. Никто не читает.

Он посмотрел на меня.

— Ты читаешь контракты? — спросил Тигран.

Я подумал о бумагах Аллы Викторовны. О поручительстве на Пушкинской. О договоре займа с Арсеном — первом, который я прочитал.

— Учусь, — сказал я.

Тигран кивнул.

— Завтра утром, — сказал он. — Я подпишу. Форс-мажор. Она уедет в обед. Самолёт в Херсон через Киев. Отель оплатит билет. Это тоже в контракте. Пункт шестнадцать.

Он посмотрел на меня.

— Я восемь лет подписываю такие бумаги, — сказал Тигран. — Никто не приходит и не говорит. Девочки плачут под покрывалами. Менеджеры не видят. Или видят — и молчат.

Он закрыл дверь.

Настя улетела на следующий день. В обед. Оксана провожала её до автобуса.

Я стоял у входа в лобби. Не подходил. Смотрел.

Настя села в автобус. Посмотрела в окно. На Оксану. Потом — на меня. Не знала, кто я. Просто посмотрела.

Автобус уехал.

Оксана подошла ко мне. Встала рядом.

Молчала. Долго.

Потом сказала:

— Тигран сказал — ты пришёл к нему ночью. Сказал — пункт четырнадцать.

— Он сам сказал про пункт.

— Но ты пришёл, — сказала Оксана. — Ночью. Из-за девочки, которую не знаешь.

Она посмотрела на меня. Снизу вверх.

— Я тебя неправильно прочитала, — сказала она. — Вчера. За кулисами. Я думала — ты выбираешь.

— Я выбирал, — сказал я. — Раньше. Ты не ошиблась. Ты просто опоздала на десять лет.

Оксана засмеялась. Коротко. Хрипло. Неожиданно.

— Херсонская привычка, — сказала она. — Сначала бьём, потом разбираемся.

В тот вечер, после шоу, она подошла снова. За кулисами.

— Факир, — сказала Оксана. — Дима. Что делать?

Я подумал.

— Пусть не глотает огонь, — сказал я. — Пусть жонглирует. Факелами. Не ко рту — в воздух. Это тоже красиво. И не страшно. Страх уйдёт — может, вернётся к огню. Сам.

Оксана кивнула.

— А Лиза? Во втором ряду?

— Дай ей выходной. Завтра. Целый день. Я поговорю с Тиграном — пусть из другого отеля пришлют замену на один вечер. У него брат в Аланье, в отеле. Гурам говорил.

Оксана смотрела на меня.

— Ты две недели здесь, — сказала она. — Нет, три дня. А уже знаешь, у кого брат в Аланье.

— Я слушаю, — сказал я. — Это вторая половина. Видеть — половина. Слушать — вторая.

Оксана долго смотрела на меня.

Потом протянула руку.

— Оксана Гриценко, — сказала она. — Херсон. Тридцать один. Руководитель анимации. Шестой сезон.

Я пожал.

— Максим Ветров. Ростов. Двадцать девять. Гест-рилейшн. Первый сезон.

— Ты пьёшь? — спросила она. Вдруг. Прямо.

— Нет. Шестьсот одиннадцать дней.

Оксана кивнула. Медленно.

— Я тоже, — сказала она. — Не пью. Отец пил. В Херсоне. В порту работал. Пил и бил. Мать. Меня. Брата.

Она отпустила мою руку.

— Я танцую, — сказала Оксана. — С пяти лет. Мать отвела в кружок. Чтобы я меньше дома была. Я танцевала по шесть часов в день. Чтобы не идти домой.

Она посмотрела на сцену. Пустую, тёмную.

— Я до сих пор танцую, — сказала она. — Чтобы не идти домой. Шестой сезон. Ни разу дома летом не была.

Она повернулась. Пошла к выходу. У двери остановилась.

— У меня сын, — сказала Оксана, не оборачиваясь. — В Херсоне. Пять лет. С моей матерью. Я его вижу три месяца в году. Зимой.

Она помолчала.

— Я тоже бегаю, — сказала она. — Как ты. Только танцую.

И ушла.

Я стоял за кулисами. Среди костюмов, реквизита, коробок.

И думал — вот. Опять. Женщина, которая видит меня. Как Тамара. Как Карина. Как Лена. Как Вероника.

Только эта — не хочет, чтобы я что-то для неё сделал. Не ищет того, кто увидит. Сама видит.

И бежит. Как я.

Это было — новое.

И опасное.

Я пошёл в свою комнату. Над мусорными баками. Полил фиалку — не воскресенье, но мне было надо.

Считал дни.

Шестьсот тринадцать.

И подумал — Валентина Сергеевна сказала: «Мозгу всё равно, через что».

Оксана — не Вероника. Я знал. Чувствовал.

Но я не доверял своим чувствам. Больше. После Береговой.

Значит — медленно. Как Ашот курагу выбирал. По одной ягоде.

Глава 5. Среда

В первую среду я поехал в Анталью.

Автобус от Кемера — час десять. Старый, турецкий, «Мерседес» восьмидесятых годов, с кондиционером, который не работал, и с водителем, который курил в открытое окно и слушал турецкую попсу на полную громкость. Пассажиры — местные. Женщины в платках с сумками. Старики с чётками. Студенты с наушниками. Я — единственный русский. С бородой. С листком бумаги в руке.

На листке — почерк Валентины Сергеевны. «Анталья. Русская община. Подвальное помещение при храме. Улица — спросить у таксистов „Рус килисеси“. Среда. 19:00. Отец Николай».

«Рус килисеси» — русская церковь. Таксист у автовокзала понял сразу. Кивнул. Отвёз. За десять лир.

Церковь была маленькая. Не церковь — часовня. Белая, двухэтажная, с крестом на крыше, втиснутая между двумя жилыми домами в старом районе. Над входом — иконка Николая Чудотворца. Того самого. Покровителя моряков. Как в подвале под храмом Святой Троицы в Адлере.

Он и тут был. Святой Николай. Мне потом объяснили — он родом отсюда. Родился в Патарах, а епископом был в Мирах Ликийских. Там сохранился его храм. Тысячу семьсот лет назад. Покровитель моряков, путешественников и всех, кто далеко от дома.

И — я узнал это позже — пьяниц.

Не официально. Но в русской традиции — Никола-угодник. Которому молятся, когда муж пьёт.

Николай. Везде за мной. Из Адлера — в Анталью.

Подвал был маленький. Восемь стульев. Электрический чайник. Банка растворимого кофе. Печенье — турецкое, в ярких пачках. Иконы на стенах — бумажные, в рамках.

На стульях сидели шесть человек.

Женщина лет пятидесяти — русская, замужем за турком, двадцать лет в Анталье. Пила одна. Дома. Пока муж на работе. Муж не знал — мусульманин, не пил, не понимал, что такое запой.

Мужчина лет шестидесяти пяти — пенсионер из Самары. Купил квартиру в Аланье. Переехал. Думал — солнце, море, рай. Через год — пил с утра до ночи. От скуки. От одиночества. От того, что рай оказался пустым.

Девушка лет двадцати пяти — аниматор. Из Николаева. Из другого отеля. Пила после шоу. Каждую ночь. Чтобы уснуть.

Двое мужчин — сорок с чем-то, гиды. Возят русских туристов на экскурсии. Пили в автобусе. С туристами. Туристы угощали.

И священник. Отец Николай. Лет пятидесяти. С бородой — длиннее моей. В подряснике. С добрыми глазами и шрамом через подбородок.

Он увидел меня. Кивнул на стул.

— Новенький, — сказал он. Не спросил. — Валентина Сергеевна звонила. Из Ростова. Сказала — приедет Максим. Сказала — следите.

Я сел.

Как в Ростове. Как в Адлере. Везде, куда я приезжал, — кто-то звонил заранее. Сказать — следите.

Когда дошла моя очередь, я сказал:

— Меня зовут Максим. Я алкоголик. Шестьсот четырнадцатый день. Я работаю в отеле. Всё включено. Восемь баров. Бесплатно. С девяти утра. Я каждый день хожу мимо. И каждый день считаю.

Тишина.

Потом мужчина-гид засмеялся. Невесело.

— Всё включено, — сказал он. — Мы называем это «всё выключено». Голова выключено. Совесть выключено. Семья выключено.

Отец Николай кивнул.

— Здравствуй, Максим, — сказал он.

Все повторили.

В середине встречи дверь открылась.

Вошёл мужчина. Лет сорока. Высокий, полный. В гавайской рубашке. Красный от солнца — облезлый нос, облезлые плечи.

Остановился в дверях. Огляделся. Увидел меня.

И я его узнал.

Самолёт. Ростов — Анталья. Соседнее кресло. Два виски. Один — поставил обратно на тележку. «Жена говорит — мне бы тоже. Не знаю, как».

Листок Валентины Сергеевны. С адресом. В нагрудном кармане гавайской рубашки.

Он стоял в дверях. Смотрел на меня. Не знал, войти или уйти.

Я кивнул на пустой стул. Рядом с собой.

Он вошёл. Сел. Тяжело. Стул скрипнул.

— Олег, — сказал он тихо. Мне. — Из самолёта. Помните?

— Помню.

— Я неделю собирался, — сказал Олег. — Каждый день. Брал листок. Смотрел. Убирал. Жена спрашивала — что это? Я говорил — ничего. Экскурсия.

Он помолчал.

— Сегодня — последний день, — сказал он. — Завтра улетаем. Я подумал — если не сегодня, то никогда. Сказал жене — поеду на экскурсию. В Анталью. Один. Она посмотрела на меня. Сказала — езжай.

Когда дошла его очередь, он долго молчал. Красный. Потный. С облезлым носом.

Отец Николай ждал. Не торопил.

Потом Олег сказал:

— Меня зовут Олег. Я… — он остановился. — Я не знаю, как это говорят.

— Как хотите, — сказал отец Николай. — Тут нет правильных слов.

Олег смотрел в пол.

— Меня зовут Олег, — сказал он. — Екатеринбург. Сорок три года. Прораб. Строю дома. Двадцать лет. Пью — двадцать пять. С армии.

Он помолчал.

— Жена сказала — последний раз, — сказал Олег. — В июле. Сказала — поедем в Турцию, отдохнём. Если там будешь пить — я с детьми ухожу. К маме. В Челябинск. Навсегда.

Он поднял глаза.

— Я в самолёте взял два виски, — сказал Олег. — Привычка. Не думая. А рядом сидел он. — Он кивнул на меня. — С водой. С цветком в стаканчике. Сказал — шестьсот четырнадцатый день. Я поставил один виски обратно.

Он помолчал.

— Второй я выпил, — сказал Олег. — Но один — поставил. Первый раз в жизни. Поставил обратно.

В подвале было тихо.

— Потом — неделя в отеле, — сказал Олег. — Всё включено. Бары. Я пил. Меньше, чем дома. Но пил. Жена смотрела. Молчала. Я ждал, что скажет — всё, уходим. Не сказала.

Он вытер лицо ладонью.

— Вчера вечером она пришла ко мне в бар, — сказал он. — Села рядом. Взяла мой стакан. Понюхала. Поставила. Сказала — Олег, я тебя двадцать лет люблю. Я не уйду. Я соврала про маму. Мама умерла три года назад. Мне некуда уходить. Я просто хотела, чтобы ты испугался.

Олег заплакал. Тихо. Сорокатрёхлетний прораб из Екатеринбурга. В гавайской рубашке. В подвале русской церкви в Анталье.

— Я не испугался, — сказал он сквозь слёзы. — Я двадцать лет не пугался. Ни её, ни детей, ни врачей. А когда она сказала, что ей некуда уходить, — я испугался. Первый раз. Что она — здесь. Со мной. Навсегда. И что я её — пропью. Как отец пропил мать.

После встречи мы стояли у церкви. Ночь. Тёплая. Пахло жасмином и выхлопными газами. Вдалеке — минарет. Подсвеченный зелёным.

Олег курил.

— Завтра — домой, — сказал он. — Екатеринбург. Там есть такие? Подвалы?

— Есть. Везде есть. Отец Николай даст адрес.

Олег кивнул.

— Спасибо, — сказал он.

— За что?

Олег подумал.

— За то, что вы с водой сидели, — сказал он. — В самолёте. Если бы вы взяли виски — я бы взял три. А вы — с водой. И с цветком. Я подумал — мужик, бородатый, здоровый, с цветком в стаканчике, пьёт воду. Значит, можно.

Он выбросил окурок.

— Значит, можно, — повторил Олег.

Он пошёл к такси. Обернулся.

— Цветок жив? — спросил он.

— Жив. Четвёртый лист пустил.

Олег улыбнулся. Первый раз за вечер.

— Передавайте привет, — сказал он. — Цветку.

И уехал.

Отец Николай стоял на крыльце церкви. Смотрел вслед такси.

— Вы его знаете? — спросил он.

— Из самолёта. Неделю назад. Сидел рядом. Я дал ему адрес.

Отец Николай кивнул.

— Так это работает, — сказал он. — Двенадцатый шаг. Нести весть. Не проповедью. Не уговорами. Просто — сидеть рядом с водой. Чтобы человек увидел — можно.

Он посмотрел на меня.

— Вы знаете, откуда у меня шрам? — спросил отец Николай.

Я покачал головой.

— Девяносто седьмой, — сказал он. — Москва. Я тогда ещё не был священником. Был — торговцем. На Черкизоне. Пил. Однажды пьяный упал с лестницы в метро. Подбородок — об ступеньку. Восемь швов.

Он потрогал шрам.

— Зашивала девушка, — сказал он. — Студентка. В травмпункте. Практикантка. Сказала — вам надо бросить пить, или следующий раз будет не подбородок. Я посмеялся. Через два года — бросил.

Он помолчал.

— Я её до сих пор вспоминаю, — сказал отец Николай. — Не знаю, как зовут. Не знаю, где сейчас. Но если бы она не сказала — может, я бы не бросил.

Я стоял на крыльце.

Травмпункт. Практикантка. Швы.

Другой город. Другой год. Другая девушка.

Но — то же.

— У меня тоже шрам, — сказал я. Показал ладонь. — Девять швов. Тоже практикантка. Тоже сказала — следующий.

Отец Николай посмотрел на мою ладонь. На узелок, который тянул на погоду.

Потом — на меня.

— Вы её знаете? — спросил он. — Свою?

Я подумал.

— Знаю, — сказал я. — У нас дочь.

Отец Николай долго смотрел на меня. Не спросил ничего. Ни где она. Ни почему я здесь, а не там.

Просто перекрестил.

— Следующая среда, — сказал он. — Семь вечера.

Женщину, замужем за турком, звали Галина.

Про неё я узнал в третью среду. Она осталась после группы. Мыла чашки. Как Валентина Сергеевна в Ростове.

Пятьдесят лет. Полная, светлая, крашеная. С золотым крестиком на шее и с турецким браслетом от сглаза — синим глазом — на запястье. С тверским говором. Двадцать лет в Анталье.

— Я из Твери, — сказала она. Вытирая чашку. — Вы там были?

Я замер.

Тверь. Девятнадцать лет назад. Нет — восемь. Утро ужаса номер пять. Кольцо на пальце. Двенадцать бутылок водки. Цыганская свадьба. Роза.

— Был, — сказал я. — Один раз. Плохо помню.

Галина засмеялась.

— Все так говорят, — сказала она. — Про Тверь. Плохо помню. Это у нас город такой. Пьющий.

Она поставила чашку.

Она рассказала.

В девяностом — двадцать лет — поехала в Турцию. Челноком. Кожа, дублёнки, свитера. Стамбул, Лалели. Сумки в клеточку — по сорок килограммов. Двенадцать рейсов за год.

На тринадцатом — встретила Керема. Продавец в лавке кожи. Двадцать пять лет. Красивый. Глаза — как маслины. Не пил — мусульманин.

Вышла замуж. Через год. Переехала в Анталью. Родила троих.

— Двадцать лет — хорошо, — сказала Галина. — Муж хороший. Не пьёт. Не бьёт. Работает. Дети выросли. Старший — в Стамбуле, программист. Дочь — замужем. Младший — в армии.

Она помолчала.

— А я пила, — сказала Галина. — Двадцать лет. Тайно. Муж — не знал. Он не понимает. Он не видел никогда пьяных. У них — нельзя. Он думал — я устаю. Болею. Голова болит.

Она посмотрела на меня.

— Я в шкафу держала, — сказала она. — За банками. Водку. Русскую. Покупала в русском магазине. Говорила — для гостей.

Она засмеялась. Невесело.

— Двадцать лет — гостей не было, — сказала Галина. — Ни одного. Все друзья — турки. Не пьют. Все русские подруги — уехали обратно. А я — с водкой в шкафу. Для гостей.

— Как вы поняли? — спросил я.

Галина долго молчала. Мыла последнюю чашку. Медленно.

— Внучка, — сказала она. — Дочкина. Пять лет. Пришла в гости. Полезла в шкаф — за печеньем. Нашла бутылку. Принесла мне. Сказала — бабушка, это что? Вода?

Она поставила чашку.

— Я сказала — да, — сказала Галина. — Вода. Русская. Особая.

Она помолчала.

— Она открыла, — сказала Галина. — Понюхала. Сморщилась. Сказала — бабушка, это не вода. Это как у дедушки Хасана в больнице. Лекарство.

Она посмотрела в окно. На улицу.

— Пять лет, — сказала Галина. — Внучка. Турецкая. Ни разу в жизни не видела пьяного. Сказала — это не вода. Это лекарство. Я в тот вечер — вылила. В раковину. Всё. Восемь бутылок. За банками. За крупой. За консервами. Восемь.

Она повернулась ко мне.

— Муж пришёл. Увидел. Бутылки в мусорном ведре. Восемь. Пустые. Спросил — что это? Я сказала — Керем, я двадцать лет пила. Тайно. Прости.

Она замолчала.

— Что он сказал? — спросил я.

Галина засмеялась. Сквозь слёзы.

— Он сказал — я знал, — сказала она. — Двадцать лет знал. Нюхал. Видел. Молчал. Думал — у русских так. Думал — если скажу, ты уедешь. Обратно в Россию. А я тебя люблю.

Она вытерла глаза.

— Двадцать лет, — сказала Галина. — Он молчал, потому что любил. Я пила, потому что думала — он не видит. А он — видел. Каждый день.

Она посмотрела на меня.

— Я тогда поняла, — сказала она. — Что нельзя молчать из любви. Это — не любовь. Это — страх. Он боялся, что я уеду. Я боялась, что он узнает. Двадцать лет — двое трусов в одном доме.

Мы вышли из церкви вместе. Ночь. Тёплая. Пахло жасмином.

У ворот стоял мужчина. Пятьдесят лет. Седой. С усами. С глазами — как маслины. В рабочей куртке.

Керем.

Он ждал. Каждую среду, Галина сказала, — ждёт у ворот. Час. Не входит. Не знает русского. Но ждёт. Потом везёт домой.

Он увидел Галину. Улыбнулся. Посмотрел на меня.

Галина сказала ему что-то по-турецки. Он кивнул. Подошёл. Протянул руку.

— Teşekkür ederim, — сказал он. Спасибо.

— За что? — спросил я по-турецки. Плохо.

Керем подумал. Сказал что-то. Длинное.

Галина перевела:

— Он говорит — за то, что ты тоже ходишь. Он говорит — когда она видит, что молодые мужчины тоже ходят, ей не стыдно. Она двадцать лет думала, что одна такая.

Керем открыл дверь машины. Старый «Рено». Галина села. Он закрыл дверь. Обошёл. Сел за руль.

Перед тем как тронуться — опустил стекло. Посмотрел на меня.

Сказал — по-русски. Медленно. Явно выученное. Одну фразу.

— Не молчать из любви.

И уехал.

В автобусе обратно в Кемер я позвонил Димке.

Он взял сразу.

— Ну? — спросил он. — Был?

— Был.

— Сколько?

— Шестьсот семнадцать.

Димка помолчал.

— Олег пришёл? — спросил он. Я ему рассказывал про самолёт.

— Пришёл.

Димка засмеялся.

— Значит, ты как Слава, — сказал он. — Подвал везёшь с собой. Куда едешь — там подвал.

Я смотрел в окно автобуса. На тёмное море. На огни отелей вдоль берега.

Сотни отелей. Тысячи баров. Всё включено.

И где-то среди них — подвал под русской церковью. Восемь стульев. Электрический чайник. Николай Чудотворец на стене.

Николай — везде за мной.

Глава 6. Утро ужаса № 13

Тринадцатый раз меня разбудил петух.

Нет. Не петух. Чайка. Она сидела на мачте прямо надо мной и орала. Как петух тёти Мананы в Гагре. Как павлин в Дендрарии.

Я открыл глаза.

Небо. Розовое. Утреннее. Мачта — деревянная, тёмная, с убранным парусом. Канаты. Чайка.

Подо мной — палуба. Деревянная, тёплая. Пахнет смолой, морем, вчерашним шашлыком.

Я лежал на палубе гулета. Деревянной турецкой яхты. На подушках, сваленных у мачты. В мокрых шортах. Без рубашки. С рацией на поясе — разряженной.

Качало. Мягко. Ровно.

Я сел.

Вокруг — бухта. Маленькая, круглая, как чаша. Скалы — серые, обрывистые, поросшие соснами. Вода — бирюзовая, прозрачная до дна. Я видел камни на дне. Рыб. Морского ежа. Метров восемь глубины — а как будто полметра.

На берегу — развалины. Колонны. Камни. Античный город. Фазелис. Три тысячи лет. Я знал — Ферхат возил туда гостей.

Тишина. Только чайка. И вода плещет о борт.

Трезвый. Шестьсот пятьдесят первый день.

Я это знал точно. Как всегда теперь.

Расследование номер тринадцать. Трезвое. Пятое трезвое из тринадцати. Я начинал думать, что трезвые утра ужаса — моя новая специальность.

Улика первая. На палубе, рядом со мной, — маска. Ласты. Фонарь — подводный, жёлтый, тяжёлый. Выключенный. Я его держал в руке, когда засыпал. Помню.

Улика вторая. На корме — двое. Спят. Обнявшись. На одном пледе. Молодые — лет по двадцать пять. Парень — русый, худой, загорелый. Девушка — тёмненькая, маленькая, с короткой стрижкой. Оба в купальниках. У неё на пальце — кольцо. Тонкое, золотое. У него — нет. Только белая полоска на загорелом пальце. Где кольцо было.

Улика третья. Я помнил. Всё.

Вчера — экскурсия. Гулет «Мавиш». Капитан Хасан, шестьдесят лет, с усами, как у Ашота, и с внуком Эфе, восьми лет, который помогал деду на палубе. Маршрут — Кемер, бухта Фазелис, Пиратская бухта, обратно. С девяти утра до шести вечера. Двадцать гостей. Обед на борту — шашлык, салат, арбуз. Купание в бухтах.

Я поехал, потому что Тигран попросил. На «Мавише» в прошлую неделю подрались двое русских — пьяные, из-за места на носу. Тигран сказал — съезди, посмотри, как там. Если опять пьют — найдём другого капитана.

Не пили. Хасан не наливал. Сказал — на моём корабле — только чай и айран. Кому не нравится — плывите сами.

Всё было хорошо. До пяти вечера.

В пять, в бухте Фазелис, перед отплытием домой, молодожёны из Тулы — Андрей и Света — прыгали с борта. Последний раз. Держась за руки. Смеялись.

Когда вынырнули — Андрей перестал смеяться.

Поднял руку. Посмотрел на палец.

Кольца не было.

Обручальное. Купили за неделю до свадьбы. На все деньги. Свадьба была три дня назад. Это был медовый месяц. Первая неделя брака.

Андрей нырял. Двадцать раз. Тридцать. Восемь метров — не так глубоко. Но дно — камни, водоросли, песок. Кольцо — маленькое. Золото на дне — не блестит, тонет в песке.

Не нашёл.

Света сидела на борту. Не плакала. Смотрела на воду.

Капитан Хасан сказал — надо уходить. Шесть часов. Ветер будет. Остальные гости ждут.

Андрей сказал — я не уйду.

Хасан смотрел на него. Потом на меня. Потом на остальных гостей. Восемнадцать человек. Которые хотели домой, в отель, на ужин, в бар.

Я подумал. Три секунды.

— Хасан, — сказал я. — Есть второй катер? Быстрый? Можно гостей отправить на нём. А «Мавиш» останется. До утра.

Хасан смотрел на меня. Потом засмеялся. Позвонил кому-то. Через час из Кемера пришёл моторный катер. Гости уплыли. Остались — Хасан, Эфе, Андрей, Света, я.

Мы ныряли до темноты. Потом — с фонарями. Хасан достал подводный фонарь — старый, тяжёлый, жёлтый. Мы с Андреем ныряли по очереди. Светили на дно. Перебирали камни руками.

Эфе, восьмилетний, сидел на борту. Светил сверху вторым фонарём. Показывал — тут ещё не смотрели, тут смотрели.

Света сидела рядом с ним. В пледе. Молчала.

В полночь Андрей вылез на палубу. Последний раз. Сел. Мокрый, синий от холода, — вода в октябре уже не летняя.

— Всё, — сказал он. — Нету.

Света подошла. Села рядом. Накрыла его пледом.

Молчали.

Потом Андрей сказал — тихо, не ей, морю:

— Три дня. Три дня женат. И уже потерял.

Света посмотрела на него.

— Кольцо, — сказала она. — Ты потерял кольцо. Не меня.

Андрей молчал.

— Ты нырял шесть часов, — сказала Света. — В холодной воде. В темноте. За кольцом за двенадцать тысяч рублей. Капитан говорил — уходим. Ты сказал — не уйду.

Она взяла его за руку. За ту, без кольца.

— Если ты так за кольцом ныряешь, — сказала Света, — значит, за мной — тем более нырнёшь. Мне не кольцо надо было. Мне надо было узнать — ты уйдёшь или нырнёшь. Ты — нырнул.

Андрей смотрел на неё.

Потом заплакал. Как Олег в подвале. Как Гоша — всегда.

Я отошёл на нос. С фонарём. Не мешать.

Сел у мачты. На подушки.

И уснул. Трезвый. От усталости. Как всегда.

Теперь было утро. Шесть часов. Розовое небо. Чайка на мачте.

Я встал. Тихо, чтобы не разбудить молодожёнов. Пошёл к борту. Посмотрел на воду.

Бирюзовая. Прозрачная. Утреннее солнце — первые лучи — пробили воду насквозь. До дна.

И я увидел.

Не на дне. Не в песке. Не между камнями.

На трапе.

На металлическом трапе для купания, который висел за кормой. Три ступеньки — в воде. На нижней — решётка. Ржавая. С ячейками. Чтобы ноги не скользили.

И в одной ячейке решётки — блеск. Маленький. Золотой. В первом луче.

Я спустился по трапу. По пояс в воду. Нагнулся.

Кольцо.

Застряло в решётке нижней ступеньки. Вчера, когда Андрей последний раз поднимался на борт — перед прыжком, — оно соскользнуло с мокрого пальца. Упало. Застряло в ржавой решётке. В полуметре от поверхности.

Всю ночь — здесь. В полуметре. Пока мы ныряли на восемь метров вниз и перебирали камни на дне.

Я стоял на трапе. По пояс в воде. С кольцом в руке.

И смеялся. Беззвучно. Как в тележке с мандаринами.

Всю жизнь я искал на дне. Глубоко. В темноте. Среди камней. То, что было рядом. В полуметре. На ступеньке, по которой я каждый раз поднимался.

Не про кольцо я тогда подумал.

Про Димку. Который был рядом — а я искал на Береговой. Про Ирму. Которая звонила каждое воскресенье — а я искал в «Метрополе». Про отца, у мангала. Про Гошу, с пирожками. Про Цербера, с фиалкой.

Все — на ступеньке. В полуметре. В решётке.

А я нырял на восемь метров.

Я поднялся на корму. Мокрый. Подошёл к молодожёнам. Они спали. Обнявшись. Под пледом.

Я положил кольцо на плед. Между ними. На складку.

Отошёл.

Через десять минут проснулся Эфе. Восьмилетний. Вышел из каюты. Увидел кольцо на пледе. Закричал. По-турецки. Громко. На всю бухту.

Молодожёны проснулись.

Андрей увидел кольцо. Схватил. Посмотрел. Не поверил.

Света смотрела на кольцо. Потом — на меня. Я стоял у мачты. Мокрый.

— Где? — спросила она.

— На трапе, — сказал я. — В решётке. Нижняя ступенька. Полметра от поверхности.

Андрей смотрел на меня. Потом на трап. Потом на кольцо.

— Полметра, — сказал он. — Я на восемь метров нырял. Шесть часов.

— Я тоже, — сказал я.

Он засмеялся. Потом Света. Потом Эфе — не понимая, но громче всех. Потом капитан Хасан, который вышел из каюты, протирая глаза, и ничего не понял, но засмеялся тоже.

Андрей надел кольцо. Повертел на пальце.

Потом снял. Протянул Свете.

— Надень мне, — сказал он. — Ещё раз. Как в ЗАГСе. Только тут.

Света взяла кольцо. Надела ему на палец. Медленно. Глядя в глаза.

На палубе гулета «Мавиш». В бухте Фазелис. У развалин города, которому три тысячи лет. На рассвете.

Капитан Хасан хлопал в ладоши. Эфе свистел. Чайка орала на мачте.

А я стоял у мачты. Мокрый. Шестьсот пятьдесят первый день.

И думал, что Деспина была права. Удача — это не когда хорошо.

Удача — это когда смотришь в полметра. А не на восемь.

Когда мы вернулись в Кемер, Тигран ждал на причале.

Скрестив руки. В белой рубашке. С очками на носу.

— Ты не ночевал в отеле, — сказал он.

— Не ночевал.

— Рация — разряжена. Телефон — не отвечает. Хасан позвонил в одиннадцать вечера — сказал, вы ищете кольцо. Я не спал.

Он смотрел на меня.

— Нашли? — спросил Тигран.

— Нашли. На трапе. В полуметре.

Тигран долго молчал. Потом снял очки. Протёр.

— Гурам говорил, — сказал он. — Про тележку с мандаринами. Про павлинов. Я не верил. Думал — Гурам врёт, он всегда врёт для красоты.

Он надел очки.

— Не врал, — сказал Тигран. — Тебя действительно уносит. Каждый раз. Непонятно куда. Трезвого.

Он повернулся. Пошёл к отелю.

— Иди спать, — сказал он, не оборачиваясь. — До обеда. Потом — работать. Женщина из четыреста двенадцатого опять кричит. Про кондиционер.

Я пошёл спать.

В свою комнату над мусорными баками.

Фиалка на подоконнике — пять листьев. Пятый — новый. Совсем маленький. Светлый.

В полуметре от моей кровати.

Глава 7. Зима в Кемере

Отель закрылся седьмого ноября.

Последние гости уехали утром — немцы, пенсионеры, которые любили межсезонье: тепло, тихо, дёшево. Автобус увёз их в аэропорт. Тигран стоял у входа и махал рукой. Как машут уходящему поезду.

Потом повернулся ко мне.

— Всё, — сказал он. — До апреля.

За неделю отель опустел. Персонал разъехался. Турки — по домам, в деревни, к семьям. Курды — на восток. Украинцы, русские — домой, на самолётах. Аниматоры — первыми. Оксана уехала третьего. Утром. В Херсон. К сыну.

Она зашла попрощаться. Ко мне — в комнату над мусорными баками. Постучала. Вошла. Посмотрела на фиалку.

— Пять листьев, — сказала она.

— Шесть. Вчера — шестой.

Оксана кивнула.

— Не сдохнет зимой, — сказала она. — Если ты не сдохнешь.

Протянула руку. Я пожал.

— До апреля, — сказала Оксана.

— До апреля.

Она ушла. Не оглядываясь. Как Ирма по Тверской.

Мы были друзьями. Три месяца. Каждый вечер после шоу — чай на пирсе. Разговоры. Про Херсон. Про Ростов. Про отцов, которые пили. Про то, как танцевать, чтобы не идти домой. Про то, как катать тележку, чтобы не идти домой.

Ничего больше.

Я не позволял. Себе. Валентина Сергеевна сказала — медленно. Ашот сказал — по одной ягоде.

Тигран уехал двенадцатого. В Стамбул — к владельцам, отчитываться за сезон. Потом — в Сочи, к матери. Матери было восемьдесят. Она жила в Адлере, у тёти Аси. Тигран ездил к ней каждую зиму.

Перед отъездом он позвал меня в свой кабинет. Положил на стол связку ключей. Большую. Тяжёлую. Двадцать ключей на кольце.

— Ты остаёшься, — сказал он. — Сторожем. Зимним. Как договаривались. Четыреста долларов в месяц. Жильё, еда — бесплатно.

Он показывал ключи по одному.

— Главный корпус. Кухня. Прачечная. Склад белья. Склад продуктов. Котельная. Генератор. Насосная бассейнов. Лодочный гараж. Спортзал. Спа. Офис.

Он остановился на одном ключе. Большом. Медном. С биркой.

— Склад напитков, — сказал Тигран.

Он положил ключ на стол. Отдельно. Посмотрел на меня.

— Там — три тысячи бутылок, — сказал он. — Остатки сезона. Водка, виски, коньяк, ракы, вино. Пиво — кеги. Двести литров. До апреля будут стоять. Склад надо проверять раз в неделю. Температура, влажность, крысы.

Он смотрел на меня.

— Я мог бы отдать этот ключ Мехмету, — сказал Тигран. — Повару. Он тоже остаётся. Мусульманин, не пьёт, тридцать лет. Но я не отдаю. Я отдаю тебе. Все ключи. Вместе.

— Почему?

Тигран снял очки.

— Потому что ты сам решишь, — сказал он. — Отдать его Мехмету — или держать. Это твоё. Не моё. Я не могу решать за тебя. Я — не Арсен.

Он надел очки.

— Если отдашь — я не обижусь, — сказал Тигран. — Если будешь держать — я не проверю. Пять месяцев. Ты и три тысячи бутылок. И ключ.

Первую неделю я держал ключ.

На кольце. Со всеми. На поясе. Как рация летом.

Каждое утро — обход. Главный корпус: проверить окна, двери, трубы. Кухня: холодильники, газ. Котельная: давление. Насосная: бассейны — их не спускали, только накрывали плёнкой, чтобы не цвели. Лодочный гараж: гидроциклы под брезентом.

И склад напитков. Раз в неделю. Как Тигран сказал.

В первый раз я открыл его в четверг.

Медный ключ. Тяжёлая железная дверь. Подвал. Ступеньки вниз. Холодно — восемнадцать градусов, кондиционер держал постоянно. Лампы дневного света. Гудят.

И — стеллажи. До потолка. Ряды. Ящики. Бутылки.

Три тысячи.

Я стоял у двери. Смотрел.

Склад был больше, чем ларёк на углу Будённовского. Больше, чем бар в ресторане на Пушкинской. Больше, чем всё, что я выпил за всю жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.